«Последний год войны Черкесии за независимость 1863-1864 гг.»,

А. Фонвилль,

Нальчик, Издание Журнала «АДЫГИ», 1991

А. ФОНВИЛЛЬ
ПОСЛЕДНИЙ ГОД ВОЙНЫ ЧЕРКЕСИИ ЗА НЕЗАВИСИМОСТЬ. 1863—1864 гг.
Из записок участника-иностранца

Редактор *Х. Г. Кармоков*

Издание журнала «Адыги». Нальчик, ул. Головко, 6. Полиграфкомбинат имени Революции 1905 года. Нальчик, пр. Ленина, 33.
Фонвилль А.

Последний год войны Черкесии за независимость. 1863—1864 гг.: Из записок участника-иностранца. — Нальчик: Адыги, 1991. — 48 с.

Записки А. Фонвилля, французского военного советника, запечатлели самые трагические страницы Кавказской войны: гибель последних защитников Черкесии и начало насильственного выселения горцев с оккупированной и разоренной родины.

© «Адыги», 1991

Английский пароход отдал буксир и через несколько секунд скрылся во мраке ночи. Мы предоставлены были, таким образом, сами себе. Мы составили совет, и по единодушному мнению нам следовало прорваться через блокаду и пройти к берегу. Измаил-Бею поручено было побудить к той же решимости старика Гассана. Задача была не легкая, и старый турок, видя, что англичане нас оставили, тоже трусил и все толковал о русских крейсерах. «Когда я соглашался доставить вас в землю черкесов», говорил он, «мы должны были идти на буксире английского парохода. Теперь же приходится пробираться без него. Мы можем быть захвачены. Если бы нас взяли с англичанами, все прошло бы благополучно; нас бы отправили пленниками в Карс или Сухум-Кале; а одних нас непременно повесят».

Много правды было в словах Гассана; но ветер был попутный, Измаил-Бей обещал такой хороший бакшиш; он так много говорил об интересах религии, и вообще во всех его доводах было столько правдивого и увлекательного, что Гассан перестал упорствовать и направил наше судно по направлению к черкесской земле.

Вот мы уже вышли в море; каик (судно), гонимый попутным ветром, идет превосходно, и в то время как мои компанионы, завернувшись в плащи, спят на палубе, я наблюдаю наших матросов-турок. Старый капитан, в голубом кафтане, сидит на румпеле; он совершенно неподвижен и как будто погружен в глубокий сон, но он даже и не дремлет, и всякий раз как наши взгляды встречаются, он с самодовольствием указывает мне на своих подчиненных, послушных малейшему его слову. Легкая улыбка скользит на его тонких губах, и при мерцании маленькой лампы, освещающей компас, я вижу его белые, острые зубы. Капитан восхищен своим судном и гордится превосходно лавирующими матросами, драпирующимися с особою, чисто восточною непринужденностью осанки в невзрачных рубищах, их покрывающих. Все они имеют на голове чалму; но этот отличительный знак сынов пророка представляется у наших матросов в виде грязного лоскутка парусины или же поношенного, изорванного бумажного платка. Между турками-матросами был один негр, с широким лицом и сплюснутым носом, который, по-видимому, обладал всеми качествами настоящего моряка.

С наступлением дня все пассажиры перезнакомились между собою; нас было пять европейцев: три поляка и два француза, под начальством полковника Пржевольского, бывшего прежде адъютантом у генерала Бема и 30-ть черкесов, под командою Измаил-Бея, одного из значительных убыхских князей. Поручение, возложенное на нас, состояло в доставке горцам пушек и оружия. Черкесы же, находившиеся с нами, должны были нас сопровождать и служить нам толмачами. Измаил-Бей, человек около 50-ти лет, долго служил в турецкой армии; он был вообще довольно развит и пользовался большим уважением у горцев.

Черкесы были одеты в своем национальном костюме — длинная туника, серого или черного цвета, широкими складками спускающаяся ниже колен, и широкие панталоны, на манер турецких. На груди, в виде опахала, расположены были классические пороховницы, вставленные в особого рода трубочки, сшитые из той же материи, как и кафтан. Шерстяной плащ с длинными космами шерсти сверху и высокая шапка, черного или серого барашка, дополняли эту дикую костюмировку, так гармонировавшую с характеристичными фигурами черкесов и с их длинными, клинообразными бородами. Каждый из них имел по карабину, большую изогнутую саблю, пристегнутую к боку, и сверх того, за поясом, широкий кинжал и пистолет; все это вооружение было оригинально убрано серебром. Безоружным черкес не сделает ни шагу; он спит, ест, работает, всегда и везде с оружием, и до того они привычны носить его с собою, что значительный вес его нисколько их не беспокоит.

Когда наступал час их молитвы, черкесы прежде всего совершали омовение, раскладывали бурки по палубе и затем становились в ряд; один из них читал несколько

молитв из Корана, остальные повторяли за ним в голос и при этом падали ниц. Церемония эта повторялась по нескольку раз в день; они никогда не забывали своих религиозных обрядов, и каковы бы ни были время и обстоятельства, они непременно молились в назначенные часы.

В политике суждения их были чрезвычайно оригинальны. Черкесы вполне были убеждены, что Турция — это самая большая, самая населенная и наиболее могущественная держава во всей вселенной; о султане турецком они иначе не говорили, как с знаками особого уважения, доходящего до поклонения. Объяснения их насчет крымской войны могут служит образчиком воззрений на современные события, господствующие в девяноста девяти сотых населения Турецкой империи. Вот, между прочим, что рассказывали они нам о крымской войне: предполагая начать враждебные действия против России, султан не хотел беспокоить для этого своих мусульманских подданных и не призывал их к оружию, он ограничился только тем, что приказал англичанам и французам прийти и выгнать русских. Вот в каких выражениях они передавали нам подлинный текст султанского приказа: «Собаки вы неверные, сказал посланник султана, если вы тотчас же не придете, мой государь прикажет, потушить огни в ваших кухнях». Эта страшная угроза, конечно, произвела свое действие: французы и англичане должны были повиноваться и тем только спаслись от султанского гнева.

Я им много говорил об итальянцах, пытаясь убедить, что и они также принимали участие в войне против русских, но все было тщетно. Они никогда и не слыхали даже названия этого народа, и для них все те, которые не были ни турки, ни русские, были или англичане, или французы. Меня удивляло это незнакомство горцев с итальянцами, которые во времена Генуэзской республики имели несколько факторий в их землях, на берегу Черного моря; но эти воспоминания были совершенно уже изглаженными, и единственными памятниками господства генуэзцев в тех местах оставались едва заметные развалины нескольких небольших укреплений. Очевидно было также, что черкесам были более известны и более симпатичны англичане, чем французы. Я никогда не мог дать себе отчета в основаниях этого предпочтения, но оно было всеобщее у горцев; одно, чего не могли понимать черкесы и в чем они обвиняли англичан, это то, что у них царствует королева, а не король. У французов и у русских — государи, в Турции — падишах, каким же образом у англичан королева? Этого черкесы никак не могли понять.

Уже начинали нам показываться кавказские горы, мы приближались к берегу, как вдруг среди ночи мы были застигнуты штилем. Безветрие это, продолжавшееся в течение трех дней, было для нас крайне некстати, так как, находясь в расстоянии от берега всего в 10-ти лье, мы подвергались опасности попасться русским крейсерам. Тем не менее мы начинали уже совершенно успокаиваться, как вдруг в полдень следующего дня мы заметили пароход, шедший от берега. Парус, совершенно бесполезно болтавшийся на мачте нашего судна и белизна которого могла нас выдать, немедленно же был спущен к палубе, и мы стали внимательно следить за подозрительным судном. Но оно. обогнув берег в расстоянии трех лье от нас, спокойно продолжало свой путь и наконец совсем удалилось.

На следующий день новая тревога; но на этот раз более действительная, потому что показались сначало одно, потом два, и наконец, три судна, шедших уже не берегом, а направлявшихся в открытое море. Что тут оставалось делать? Штиль в полном смысле слова, на небе ни одного облака, в воздухе ни самого легкого тумана. В эти минуты все слова и пререкания старого Гассана пришли нам снова на память. Злосчастные корветы между тем продолжали лавировать перед нами, то удаляясь, то приближаясь, производя на нас, в продолжение целого дня, самые неприятные, томительные ощущения, тем более, что мы очень хорошо понимали цель их маневров. Единственное, что нас спасло, — это мелкость нашего судна; наш каик, едва поднимавшийся над уровнем моря, совершенно терялся в пространстве, и чтобы его заметить, в особенности когда парус спущен, нужно было очень близко подойти к нему. Нет возможности исчислить всех проклятий,

сыпавшихся при этом на головы оставивших нас англичан; в особенности не стеснялись в этом случае наши матросы-турки; и каждый раз, как русский корвет приближался к нам, раздражение их усиливалось. И действительно, всеми невзгодами, всеми испытанными нами неприятностями мы были обязаны англичанам, которые если бы исполнили свое обещание, то мы были бы доставлены в землю черкесов гораздо прежде, чем русские крейсеры были бы предупреждены о нас.

К вечеру погода изменилась: разыгралась страшная буря, сопровождаемая сильным южным ветром; обстоятельство это было как нельзя более нам кстати, и мы воспользовались им, поставив на каике все паруса. Мачта трещала, каик наш бросало, вода заливала палубу, но мы не обращали на это никакого внимания; мы мчались и уже ни о чем более не заботились. Дождь, ветер, молния, волны, все нам было нипочем, и, я думаю, никому и никогда такая страшная погода не причиняла столько радости и утешения, как нам в нашем положении. Вдруг, в темноте, сверкнул перед нами особый свет, наподобие огненного языка. Мы направили все наши трубки на светлевшуюся точку, которая приближалась к нам с неимоверною быстротою; сверкнула молния, и мы увидели темный силуэт судна, из трубы которого извергался виденный нам огненный поток. То был русский корвет, летевший на нас на всех парах. Поворотить галс было невозможно, мы были очень близко от корвета; единственный, оставшийся у нас шанс спасения состоял в том, что мы должны были усилить ход судна. Вблизи берега корвет не рискнул бы нас преследовать; тогда как, если бы мы повернули в открытое море, ему не представлялось никакой опасности гнаться за нами. Черкесы и турки, считая себя уже погибшими, пали ниц, читали молитвы и били головами о палубу. Старый Гассан, сохраняя полное спокойствие, молча продолжал управлять ходом судна. Мы были уже так близко к корвету, что могли пересчитать число орудий на нем; но, наконец, нам таки удалось его обогнать, и мы пересекли ему путь. В одно мгновение неприятельское судно, казавшееся дотоле совершенно покойным, оживилось; но всем направлениям на нем забегали с фонарями, и мы уже слышали морские свистки. Не оставалось никакого сомнения, что нас заметили. И действительно, борты сверкнули и затем послышался страшный свист, сопровождаемый взрывами; то была картечь. По нас сделано было три залпа, но темнота и волнение в море помешали действительности неприятельских выстрелов. Мы не были настигнуты, и все дело ограничилось несколькими дырами на нашем парусе. Вскоре мы были уже вне опасности, так как каик наш снова скрылся из виду корвета. Этот последний скоро совсем удалился, и только красноватый отблеск его трубы показывал нам еще несколько времени положение нашего неприятеля; он продолжал свой путь. Мы приблизились к берегу, но ночь была так темна, что никто, даже черкесы не могли узнать места, где мы находились; а между тем это было чрезвычайно важно, так как в продолжение трехдневного штиля нас могло занести течением к пункту, занятому русскими. Это нам следовало узнать прежде всего; а между тем хотя мы были и близко от берега, но кроме белой пены от волн, разбивавшихся о берег, ничего не было видно; все было темно кругом нас. Черкесы наши начали кричать, в надежде, что их услышат с берега свои люди, но на эти возгласы им отвечало только бушующее море. Наконец брошен был наудачу якорь, судно было оставлено в море, и Измаил-Бей в сопровождении двух-трех лиц сошел на берег, чтобы осмотреть, где мы находимся. Скоро он возвратился и объявил, что мы стоим на запад от Вардана. Едва только мы направились к этому пункту, как уже рассвело и нашим взорам представился великолепный пейзаж. Мы огибали громадные утесы, о подножие которых бились волны моря, а на вершинах их росли гигантские деревья и темные купы вечно зеленеющих кустарников; время от времени, сквозь широкие расселины в серых скалах, мы видели обширные долины, обставленные высокими горами, крутые скаты которых доверху были покрыты роскошною растительностью. И на всем этом пространстве нигде не было видно и следов человеческого существования; мы начали уже удивляться этой пустынности, как вдруг показалась кавалькада черкесов.

Наши черкесы начали кричать, произнося какие-то условные военные термины, им отвечали, и они были узнаны. И действительно, в разных местах тотчас же показались всадники, а в какие-нибудь полчаса на вершинах скал, у входов в долины, везде наконец, мы увидали толпы горцев, приветствовавших наше прибытие ружейными выстрелами; концерт этот сопровождал нас до самого Вардана. Наконец наш каик подошел ко входу в долину, мы сошли на берег, на котором нас ожидало пять или шесть всадников. Приветствия их сопровождались радостными криками, а к Измаил-Бею они все подходили и почтительно целовали его руку. Подложив катки под киль каика, наши матросы, при содействии горцев, вытащили его на песок. Затем было приступлено к выгрузке боевых припасов и пушек; все это было убрано в домик, построенный в камышах, в котором жил Ибрагим. Господин этот играл, по-видимому, особенную роль между начальниками, которые во всех трудных случаях обращались к нему за советом. Единственный негоциант всей окрестной страны, Ибрагим продавал ткани, табак, ножи, соль, маис, хлеб, наконец, много разных других предметов, которые он обменивал на козью шерсть, мед и иногда даже на серебро. Но все исчисленные, разнообразные произведения составляли только незначительную часть торговли Ибрагима; настоящий же источник его богатств, причина его пребывания в земле черкесов, был торг невольницами. Ибрагим выжидал обыкновенно удобных случаев, и когда к нему приводили молоденьких и хорошеньких черкешенок и притом запрашивали за них не слишком дорого, он их покупал и затем перепродавал в Турцию. Торговля эта, видимо, была очень выгодна для Ибрагима; сперва он показался перед нами в какой-то отвратительной парусине, свидетельствовавшей о его крайней бедности; но после того, как он с небольшим знанием дела указал неопытным черкесам, как удобнее вытащить на берег наш каик; после того, как он кончил все распоряжения по разгрузке и по доставлении в его дом багажа, он явился к нам в великолепной голубой тунике, разукрашенной серебром. Он предложил нам по чашке кофе по-турецки. Горцы, толкавшиеся вокруг нас, не упускали нас ни на одну минуту из виду и, казалось, не могли насмотреться на нас. А между тем экипаж наш был так жалок и физиономии наши не представляли ничего особенно важного. Увы, мы и не подозревали того, что эти мучения будут нас тяготить во все время пребывания нашего у горцев; любопытство их было неиссякаемо, и в день нашего отъезда они рассматривали нас с той же жадностью, как и в день приезда. Эти любопытные, в свою очередь, заслуживали внимания и с нашей стороны. Они были высокого роста, крепкого телосложения, с правильными лицами и с открытым, смелым взглядом; движения их легкие, быстрые и свободные, свидетельствовали о силе и необыкновенной ловкости. Хотя почти все они были довольно бедно одеты, тем не менее общий вид их был очень хорош, и если бы они носили европейский костюм, то были бы чрезвычайно красивы и статны. При нашем входе в маленький деревянный дом Ибрагима весь его живой товар, т.е. пять или шесть молоденьких девушек, как добрые и верные мусульманки, боясь взглядов неверных, тотчас же все убежали. Несмотря, однако же, на поспешность их ухода, мы успели-таки заметить и убедиться, что Ибрагим очень хорошо понимал интерес его торговли и что у него были экземпляры только первого разбора. Попивая наш кофе, мы беседовали с некоторыми черкесами, которые знакомили нас с положением дел в их стране.

Русские, имея в виду, что европейские дела могут отвлечь их внимание, употребляли в то же время все их усилия, чтобы поскорее окончить подчинение их владычеству оставшихся еще непокорными горских племен. Три колонны производили концентрическое движение по стране. Первые две колонны, пройдя всю землю абадзехов, угрожали убыхам, одна от Гагр, с восточной стороны, другая от Туапсе, с северной стороны. Наконец, с запада третья колонна приближалась к главному пункту шапсугов. В крае к тому же свирепствовал такой голод, что несчастные жители, доведенные до крайности, употребляли в пищу древесные листья; эта нищета породила тиф, произведший в населении страшные опустошения. Перед нашим прибытием горцы, совершенно упавшие

духом, как они рассказывали, собирались уже отдаться добровольно русским или же эмигрировать в Турцию. Наше прибытие совершенно изменило это решение, и мы старались их убедить защищаться с прежней твердостью до тех пор, пока не придет к ним на помощь Европа. Во всяком же случае мы не могли умалить затруднительность нашего положения, так как в тылу у нас было море, а корветы русские, беспрестанно крейсировавшие около берега, отнимали всякую возможность правильного сообщения с Турцией.

Участок земли, который занимали еще непокорные горцы, заключал в себе от 30—40 лье в длину и не более 10-ти лье в ширину; местами русские посты были не более как в трех лье от моря. К сожалению, мы были далеко не в большом числе и вспомогательные средства, нами доставленные, были во всяком случае ничтожны. Ничего подобного тому, что мы нашли на месте, нам не было объявлено в Константинополе, тем не менее мы совершили уже такое путешествие, мы возбудили нашим прибытием в горцах столько мужества и энергии, что нам не оставалось уже более ни одной минуты колебания в преследовании нашего дела.

Измаил-Бей прислал за нами лошадей и проводников, и мы тотчас же отправились в его аул, расположенный на небольшой речке, орошающей долину Вардана. Мы ехали узкой, извилистой тропинкой но берегу речки, скрывающейся в кучках зеленых душистых кустарников. Время от времени, выбираясь из густой зелени, мы видели нависшие над нашими головами крутые скалы гор. Несколько раз, на небольших проталинах, покрытых густою зеленью, нас встречали и приветствовали толпы горцев.

Не широкая, но быстрая и шумящая река извивалась между громадными утесами; она была неглубока, и лошади наши, переходя ее девять раз на пути к Измаил-Бею вброд, были только по грудь в воде.

Аул Измаил-Бея, куда мы вскоре приехали, как и все черкесские аулы, состоял из дюжины низеньких домов, расположенных без всякой симметрии внутри ограды, запертой непроницаемыми заборами. Несколько толстых палисадников разделяли эту ограду на отделения, разделенные между собою таким образом, что для того, чтобы пройти из одного отделения в другое, нужно было эскаладировать эти особого рода баррикады. В каждом ауле, непосредственно у ворот ограды, находилась гостиница, в этот-то дом мы и были помещены. Земляной пол, стены из глины, крыша, покрытая дырявыми планками, сквозь которые можно было считать звезды в небе, — таково было наше жилище. Когда наступила обеденная пора, к нам явилась, целая процессия невольников, одни несли воду для омовения, как это предписывалось кораном, другие разостлали на полу циновки и ковры, предлагая нам сесть на них. Весь этот церемониал исполнялся при освещении факелами из смолистого дерева. На небольшом столе, поставленном перед нами, находилась какая-то белая масса, нечто вроде каши, приготовленной из проса, в средине этого торта было отверстие, наполненное красноватым соусом. Ни вилки, ни ножи не употребляются горцами. Когда мы покончили с кашею, нам подали большую деревянную миску с козьим бульоном, в котором были распущены зерна маиса и положено немало-таки индейского перцу. Обед этот был великолепный, и мы нисколько не сомневались в том, что на этот раз нас угощали с необычайной роскошью. Впоследствии мы в этом вполне убедились, потому что, исключая самых больших празднеств и церемоний, нам никогда не предлагали такого роскошного угощения.

По окончании обеда мы познакомились с главными начальниками края, которые, получив известие о приезде Измаил-Бея, считали долгом явиться к нему. Первым из них был некто Хаджи-Керандук, родственник Измаил-Бея, большой весельчак, человек лет 60-ти, с длинной черной бородой и с пренеприятной физиономией. Он говорил вообще мало, но каждый раз, что мы на него смотрели, он считал нужным почему-то улыбаться; в его глазах было какое-то особенно зверское выражение. Его рекомендовали нам как воина,

необычайная храбрость которого вошла в народную пословицу. Два широких рубца на лице его показывали, что он не раз бывал в схватках с русскими.
Затем следовал Эльбуце-Берцек, небольшой человек, с прелукавой миной и с рыжей бородой с проседью, одна нога у него была так сильно ранена, что он иначе и не ходил, как в сопровождении двух невольников. После него следовал Аль-Гас, седой старик, с почтенной физиономией, к тому же немало заботившийся о своей наружности, и в то время как Хаджи-Керандук и Эльбуце-Берцек отличались от простого народа только серебряными вышивками на патронташах, Аль-Гас носил великолепную из русского сукна тунику и красивую астраханскую шапочку, подбитую шелком. Последняя замечательная личность, с которой мы познакомились, был Жамбуллет, двоюродный брат Измаил-Бея, молодой человек лет 25-ти, блондин, красивый собой и с прекрасными манерами. Его руки, которые он с самодовольством выставлял напоказ, могли бы сделать честь любой красавице. Долгое пребывание его в Турции придало его манерам некоторый оттенок, резко отличавший его от несколько дикой наружности его сотоварищей.
В одно прекрасное утро рабы Измаил-Бея привели к нам лошадей, и мы отправились для присутствования на одном большом митинге, или народном собрании, на котором должно было обсуждаться положение дел края. После часа езды в горы, мы приехали на довольно обширное плато, на котором уже было собрано 500 или 600 черкесов. Со всех сторон подходили другие, и в самом непродолжительном времени всех собравшихся было около 4 тысяч человек. Горцы были в полном вооружении и верхами; затем, сойдя с лошадей и привязав их к деревьям, они образовали круг, в середине которого поместились начальники, сидя на соломенных связках. Водворилась тишина, и заседание открылось. Первым говорил Измаил-Бей; речь его была довольно длинна; по окончании ее, ответив на несколько сделанных ему возражений, Измаил-Бей передает слово другому. Ораторы сменяются, собрание волнуется, подымаются разные вопросы, возбуждаются споры. Нам уже приходит мысль, что прениям этим никогда не будет конца, как вдруг, как бы по мановению жезла, снова восстанавливается мертвая тишина. Эта сцена повторяется несколько раз, и, таким образом, в продолжение двух часов мы были свидетелями, так сказать, натурального парламентаризма. Наконец круг расстраивается, мы полагаем, что заседание окончено, но ничуть не бывало, все взоры обращаются в одну сторону, на дерево, по которому один член собрания вскарабкивается с необыкновенной поспешностью. Достигнув верхушки, он умащивается там самым комфортабельным образом и начинает оттуда держать какую-то речь, которую, однако, все слушают с полным благоговением. Индивидуум этот, так высоко взгромоздившийся, объявил постановления собрания, и нам сказали потом, что решения собрания не могут быть действительны и законны без этого обряда. Решено было призвать всех убыхов к оружию в самый короткий срок. Каждый аул обязан выставить одного экипированного воина и кормить в продолжение всей кампании. Когда таким образом общественное дело было порешено, собрание приступило к разбору частных дел. Снова составили круг, и скоро несколько дел были обсуждены; большая часть их касалась воровства. По выслушании показаний обвинявших, обвиняемых и свидетелей собрание объявило свой приговор, а герольд отправился на дерево для утверждения этого приговора.
Эти митинги представляют собой единственную власть в стране, потому что начальники, хотя вообще и очень уважаемые, не имеют, однако, никаких прав. Все свободные черкесы, богатые и бедные, равноправны и одинаково подчиняются постановлениям и решениям народных собраний.
Когда все дела на собрании были покончены, мы отправились в аул, в котором происходило большое празднество; причины этого торжества так исключительны и оригинальны, что заслуживают того, чтоб о них сказать несколько слов. По древнему, укоренившемуся в стране обычаю, когда у какого-нибудь начальника рождался сын, то черкес менее благородный, для того чтобы породниться с отцом новорожденного,

похищал этого последнего и честь воспитания ребенка принимал на себя. Семейство новорожденного в этих случаях уже и не вспоминало о ребенке до тех пор, пока он не достигал семи или восьмилетнего возраста; тогда, обыкновенно, одетого в роскошный костюм ребенка возвращали с большою церемонией его отцу. Мальчик, возвратившись домой, садится на лошадь и, сопровождаемый несколькими друзьями, объезжает страну, приглашая всех принять участие в празднестве, которое дается в честь его. Мы тоже были приглашены, не имея сперва никакого понятия об этом обычае, но когда нам объяснили его, тогда мы действительно припомнили, что дня три тому назад к нам в аул являлся особенный кортеж, цель посещения которого мы тогда никак еще не могли себе объяснить. Мы видели только, что в аул Измаил-Бея приезжали двенадцать всадников в парадных костюмах и что между ними мальчик, одетый в черкесский плащ из ярко-красного сукна, вышитый по всем швам серебром. К немалому удивлению нашему, мы заметили на нем саблю, ружье и пистолет, все чрезвычайно оригинально убранное и тщательно прилаженное к его маленькой фигурке.

На празднестве мы встретили большую часть членов народного собрания, и, сверх того, тут же присутствовала огромная толпа молодых людей, в серьезных делах не принимавших участия, здесь же бывших на первом плане.

Праздник начался тем, что один всадник с зеленым значком в руке скакал, преследуемый сотней своих товарищей, старавшихся вырвать у него из рук флаг. Всадник кидался во все стороны небольшого плато, на котором и мы находились, и употреблял всевозможные уловки, чтобы сохранить у себя трофей. Несмотря, однако, на все увертки и изменения направлений, значок был у него отнят, и похититель, в свою очередь, делался предметом всеобщего преследования. Забава эта продолжалась довольно долго, и мы с особенным интересом следили за скакавшими, которые с необыкновенной ловкостью и грацией управляли на всем скаку своими маленькими, живыми и чрезвычайно красивыми лошадками. Особенно ловкие эволюции вызывали целый гром рукоплесканий присутствовавших, и к концу игры мы заметили, что к толпе, исключительно состоявшей вначале из молодежи, присоединилось несколько стариков с седыми бородами, привлеченных всеобщим одушевлением. Во время этой джигитовки всадники время от времени стреляли в воздух, так что в продолжение целого дня слышна была беспрерывная пальба. В то же время местами образовались небольшие кучки мужчин, мы подходили к этим группам и видели в каждой из них танцевавших девушек. Танцовщицы эти, держа в каждой руке по фуляру, с необыкновенной грацией махали платками, изгибаясь всем станом в такт довольно монотонного напева, исполняемого всеми присутствовавшими. Напев этот, весьма оригинальный, сопровождался битьем в ладоши.

Все достоинство танцев девушек заключалось в том, что они выказывали при этом всю прелесть их форм и необыкновенную гибкость их стройных талий. Все девушки были красивой наружности, а некоторые — просто красавицы. Руки почти у всех у них — верх совершенства, что же касается блеска их больших глаз, разрисованных по восточным обычаям, то нет возможности выразить пером всю силу этого блеска. В первый раз мне довелось видеть вблизи черкешенок, и я должен сознаться, что нашел в них именно все то, о чем давно уже читал и слушал. Костюм черкешенок еще более возвышает их прелести. Они носят голубые платья, которых талия застегивается на груди серебряными бляхами; затем широкая юбка, спереди открытая, и цветные широкие турецкие панталоны, спускающиеся до лодыжек; их руки, покрытые рубашечными рукавами из красного или желтого шелка, проходят в отверстия рукавов платья, а эти последние, разрезанные по всей длине их, болтаются вокруг стана. Платье, панталоны, рубашка — весь костюм украшен самыми причудливыми арабесками из серебра. На головах девушки носят высокие остроконечные шапочки; волосы заплетаются в три косы, из которых одна висит назади, на спине, две же другие выставляются вперед и спускаются до пояса, сделанного

из красного сафьяна и усеянного разными серебряными бляхами и другими украшениями; наконец, ноги обуты в полусапожки разных цветов.
Замужние женщины не принимают участия в танцах и любуются празднеством с особых мест, исключительно для них назначенных, одеты они точно так же, как и девушки, вся разница заключается в большом белом вуале, который покрывает всю их фигуру, кроме глаз.
Когда девушки устали, наконец, танцевать, подан был обед, в котором приняли участие все присутствовавшие; я заметил, однако, при этом, что не все одинаково были угощаемы. Большей части публики были предложены каша из проса и небольшие кусочки солонины, между тем как некоторым, в том числе и нам, были поданы коза, маленькие пирожки и мед. Сверх того, в заключение обеда, в виде десерта, нам подали деревянную чашу, наполненную белою и гутою жидкостью: это была перебродившая мука из проса, приготовленная на меду и на воде. Хотя нельзя сказать, чтобы это питье было особенно вкусное, тем не менее мы убедились впоследствии, что для черкесов оно было нечто особенно редкостное. Так, когда мы попробовали этого питья и затем предложили его стоявшим около нас черкесам, надобно было видеть, как они были счастливы и с какою завистью на них смотрели те, которым не досталось попробовать этого питья.
После обеда танцы возобновились. Угощение, видимо, восстановило силы пировавших, и танцы приняли характер еще более оживленный, чем до обеда; на этот раз к танцевавшим девушкам присоединились и мужчины. Все принимавшие участие в танцах, и мужчины, и женщины, взявшись за руки, вытянулись в одну длинную линию; затем, подпрыгивая и подпевая в такт, они начали выделывать самые эксцентричные курбеты. В то же время несколько мужчин, сев на лошадей, отъехали на небольшое расстояние и бросились оттуда стремительно во весь скачь на линию танцевавших, намереваясь разорвать ее; но танцевавших защищала толпа пеших, бывших почти в том же числе, как и всадники; пехотинцы эти, вооруженные дубьем, встречали нападавших всадников, ударяя палками по мордам лошадей и, таким образом, препятствовали разрыву линии. Вся эта свалка сопровождалась невыразимым шумом, еще более усиливавшимся ружейными залпами, которые было замолкли на время обеда, но теперь снова возобновились с необычайным постоянством.
Лошади становились на дыбы; отраженные всадники с необыкновенной яростью снова бросались в атаку; наконец все это смешалось, спуталось, — шум, крик и общее смятение. Каждую минуту мы были в страхе, что вот, вот линия будет прорвана и несколько танцовщиц будут раздавлены; ничуть не бывало. Несмотря на значительное увеличение числа всадников, несмотря на новый маневр их с более верным шансом прорвать линию, состоявший в том, что они разделились на несколько партий, им все-таки не удалось достигнуть своей цели. Дивертисмент этот, немножко страшный, впрочем, продолжался довольно долго, и невероятное дело — при этом не было ни одного несчастного случая.
Наконец, мы оставили ликовавших доканчивать их забавы, а сами отправились в аул. Поднявшись на гору, мы заметили в море два русских корвета, обстреливавших берег. В ожидании высадки русских, мы тотчас же поскакали к берегу; нам попалось на дороге несколько женщин и детей из аулов, расположенных на берегу, спасавшихся во внутрь страны. Ядра свистали между деревьями, обламывая ветви и сучья и рикошетируя по скалам. Гранаты врывались в землю и разрывались в ней; при этом несколько черкесов было ранено, и мы их нашли укрывшимися в небольшом сарае. Около этих несчастных ухаживал старый хаджи, которого все медицинские познания ограничивались одним средством, с помощью которого он излечивал всякие болезни; из путешествия своего в Мекку хаджи принес какую-то печатку, на которой был вырезан стих из Корана. Когда он приступал к лечению, то прежде всего намазывал эту печатку чернилами, затем отпечатывал на клочке бумаги стих из Корана и бумажку эту клал на чашу, наполненную водой, больной должен был выпить несколько глотков этого питья, и затем он мог быть

совершенно спокоен за немедленное же излечение. Хаджи пользовался полнейшим доверием у черкесов; к нему приходили больные из самых отдаленных мест, и хотя они зачастую и умирали, но это ничего не значило, и почтенный хаджи, бывший единственным доктором во всей стране, постоянно имел огромное число пациентов.

Мы оставили его ухаживать за ранеными, а сами направились к берегу, где нашли толпу черкесов, засевших в засаду за небольшим холмом. Русские корветы стояли около самого берега. Каик, вытащенный на берег и поставленный позади дома Ибрагима, был причиною всей этой тревоги; русские его заметили и пронизали его ядрами до такой степени, что вся соль, наполнявшая каик, высыпалась из него на песок. Предполагая, что русские, может быть, высадятся, чтобы сжечь это несчастное судно, мы вознамерились приблизиться к нему, чтобы не упустить такого удобного случая. К несчастью, чтобы переменить место нашей засады, нужно было перебежать совершенно открытое пространство, причем четверо из нашей команды были ранены картечью. Черкесы тотчас же отнесли их к старому хаджи. Мы засели за небольшой бугорок, впереди нас находились Ибрагим и матросы с судна. Они были в страшном смущении: турки, видя их судно разрушенным, а Ибрагим — по случаю потери соли и в виду разрушения ядрами его жилища, в котором находились все его богатства.

В то время как русские продолжали обстреливать берег по всем направлениям, мы занялись рассматриванием корветов. Это были два весьма красивых военных судна, каждое о восьми орудиях. Мы видели в подзорные трубки офицеров, находившихся на корме и отдававших приказания матросам, бегавшим по палубе. Ядра свистали, пролетали над нашими головами, а гранаты разрывались в горах позади нас. Несмотря на превосходную позицию, нами занимаемую, мы не могли отвечать на выстрелы с корветов, так как пушки наши были отвезены во внутрь страны, и чтобы доставить их на берег, потребовалось бы не менее целых суток. Не будь этого обстоятельства, мы могли бы причинить русским немало вреда, так как они, не подозревая, что у нас есть орудия, подошли слишком близко к берегу. Мало-помалу наш отряд постоянно увеличивался и достиг, наконец, от 700 до 800 человек.

К сожалению, русские не решились высадиться, и с наступлением ночи их корветы отправились в море. В этот день у нас было 20 человек убитых и столько же раненых.

Несколько дней спустя нам приходилось оставить Вардан для того, чтобы направиться против русских, угрожавших Туапсе. Мы отправились береговою дорогою, которая была главной коммуникационной линией края. Затруднения, встреченные нами на этом пути, убедили нас, сколько трудностей, часто самых непреодолимых, представляет поход в подобной гористой, неровной местности.

Путь, которым мы следовали, представлял тропинку у подножия скал; местами он был так загроможден, что нам приходилось спускаться к самому морю и идти водою. На каждом шагу попадались обломки утесов, среди которых наши лошади, хотя и привычные к подобного рода путешествиям, двигались с большим трудом.

Когда мы еще на судах подходили морем к берегу, утесы, его обрамляющие, казались нам тогда очень высокими; но теперь, когда пришлось идти у подножия этих скал, мы увидели, что они были гигантских размеров; средняя их высота простиралась от 100 до 200 метров, а в некоторых местах они достигали вдвое большей высоты.

В дурную, бурную погоду дорога здесь делалась непроходимою; морские волны, ударяясь и разбиваясь об эти натуральные каменные стены, поднимались на значительную высоту с грохотом, похожим на раскаты грома. К счастью нашему, время стояло хорошее, мы шли благополучно, и наши маленькие лошади необыкновенно искусно обходили все встречавшиеся на пути препятствия. Проходя повсюду, карабкаясь с необыкновенною легкостью по скользким утесам, они без всякого затруднения входили и в воду, когда в том случалась надобность; наши лошади не были подкованы, и именно вследствие этого

они никогда не спотыкались и преодолевали все затруднения, которые непременно бы остановили всякую европейскую лошадь.
Время от времени нам приходилось переправляться через реки, переполненные от дождей водою, и наши лошади, не дотававшие в глубоких местах дна, относились силою течения на значительные расстояния от мест, которых мы хотели достигнуть.
Мы встретили несколько партий абадзехов, бежавших от русских. Несчастные эти находились в самом жалком положении: едва покрытые рубищем, гоня перед собою небольшие стада овец, единственный источник их пропитания,— мужчины, женщины, дети следовали молча одни за другими, ведя в поводу несколько изнуренных лошадей, на которых был навален весь домашний скарб и все, что они успели захватить с собой.
Встречая на пути какое-нибудь закрытие, партия этих беглецов останавливалась табором, и так как в это время уже было довольно холодно, то положение их делалось невыносимым. Настигая такие партии при переправах через реки, мы им помогали, переезжая по нескольку раз через реку, перевозили на своих лошадях женщин и детей. К сожалению, мы не могли, конечно, поспевать всюду, и невдалеке от одной реки, более других значительной, мы услыхали раздирающие крики о спасении. То было несколько несчастных, изнуренных усталостью, которые, намереваясь переправиться через реку, были унесены течением в море. Нам удалось спасти только троих, остальные погибли в быстро несущемся потоке.
Первая наша остановка была в месте, называемом Субеш, посреди развалин русского форта.
Подобные форты находились по всему берегу, и я имел случай видеть четыре таких форта, еще более значительных размеров. Когда я осматривал эти форты, они представляли самый жалкий вид. Русские оставили их совершенно разрушенными, и все это разрушение имело характер поспешного оставления фортов; чего нельзя было уничтожить другими средствами, то было взорвано посредством пороха. До крымской войны русские занимали эти посты, и черкесы не могли их выбить из них без артиллерии; но, благодаря гористой местности, черкесы постоянно держали русских в блокаде, и гарнизон этих укреплений не мог выйти из них, не подвергаясь большой опасности. После Альминского сражения, когда союзная армия подошла к Севастополю, русские послали к восточному берегу Черного моря транспортную флотилию, которая и взяла с собою орудия и войска из этих фортов.
Несколько дней спустя, наш путь был остановлен страшным ураганом, и мы расположились в месте, называемом Мукуб. Море страшно волновалось, и горные потоки с ужасным шумом уносили в него громадные камни; продолжать путь не было никакой возможности. Мы поспешили устроить несколько шалашей из листьев, в которых спрятали все свои запасы, и в продолжение четырех дней хлопотали только около них, чтобы спасти их от наводнения. К счастью, погода восстановилась, и если бы дожди продолжались еще дольше, мы погибли бы от голода; не было никакой возможности сделать ни одного шагу от места нашего пребывания для отыскания каких-либо припасов, а вместе с тем никто не мог и принести нам их, до такой степени все дороги сделались непроходимыми.
Наконец погода позволила нам отправиться в путь и проследовать во внутрь страны. Трудно представить тот путь, по которому пришлось нам следовать. Это была небольшая тропинка, едва заметная, пролегавшая по скатам крутых гор, ежеминутно мы проходили над страшными пропастями; наши лошади, привычные ко всему этому, обходили самые затруднительные места с легкостью дикой козы. Несмотря, однако, на это, нам не раз приходилось слезать с лошадей и идти пешком по узенькой тропе над пропастями, по которой решительно нельзя было следовать, сидя верхом на лошади. Черкесы первые подавали нам в этом пример, и мы следовали уже за ними, призывая в пособие все наше хладнокровие; тем не менее, и в особенности вначале, мы были в крайне затруднительном

положении. Особенно нас затрудняли наши лошади, которых приходилось при этом держать в поводу с большими предосторожностями. Проводники наши сами ужасно боялись этого перехода, и если и рисковали следовать этим путем, то только для сокращения дороги.

С наступлением ночи уже не было возможности двигаться далее, поэтому нам часто приходилось останавливаться на ночлег на самых высоких возвышенностях, где температура была очень низка. В первые дни мы имели еще возможность постоянно поддерживать огонь и сжигали целые деревья; это доставляло нам возможность отдыхать сном по нескольку часов. Но когда мы приблизились к расположению русских, то должны были отказаться и от этого удовольствия, из опасения быть замеченными неприятелем. Мы проводили тогда ночи крайне беспокойно, и в довершение всех бед у нас не было ни палаток, ни каких-либо других закрытий, ни провизии; когда же наступила зима, мы страшно страдали от холода, и нередко наши люди замерзали на бивуаках.

Однажды ночью мы увидели приближавшуюся к нам толпу людей с факелами; среди этой толпы мы заметили одного, высокого роста человека, одетого в широкую медвежью шубу, с огромным топором на плече. Его высокая баранья шапка космами волос непосредственно сливалась с его длинною черною бородою, спускавшеюся до пояса; среди этой массы густых курчавых волос виднелись два блестящих, свирепых глаза. Этот страшный господин смело подошел к нашему полковнику, отдал ему, по-военному, честь и произнес несколько слов по-польски:

— Ты поляк? — сказал ему удивленный полковник.

— Да, и я прошу вас принять меня в ряды ваших солдат.

Предложение это было немедленно принято, и мы пригласили новобранца сесть около нас, возле огня. Это был человек лет около сорока, он казался очень полным, здоровым, и, несмотря на его дикий, суровый вид, заметно было, что он сохранил еще привычку к военной дисциплине и помнил обычаи своей страны; он отвечал на наши вопросы без всякого замешательства, и хотя жил уже около 15-ти лет у черкесов, тем не менее очень хорошо объяснялся по-польски.

Фома, так было его имя, был взят на службу 18-ти лет от роду и послан на Кавказ. Однажды, когда он занимался с солдатами своего полка рубкою дров, черкесы внезапно напали на них, большую часть перебили, остальных забрали в плен. По обычаям страны, пленные были закабалены тотчас же в неволю, и Фома провел несколько лет в самой грустной обстановке. Наконец случилось событие, изменившее его участь.

Шамиль, упорно державшийся против русских в Дагестане, вознамерился послать своих помощников побудить непокорные и не доставлявшие ему никакой помощи племена западного Кавказа принять участие в войне; с этой целью он выбрал одного чрезвычайно способного и ловкого человека, так называемого наиба, т.е. духовное лицо. Этому наибу, в самое короткое время, удалось приобресть большое число партизан и побудить всех адыге, т.е. абадзехов, шапсугов и убыхов, платить Шамилю подать натурою и выставлять контингент войск, чего до сих пор Шамиль никаким образом не мог от них добиться. Средства, которые употреблял при этом наиб, были столько же просты, сколько и необыкновенно ловки.

Черкесы не были еще тогда все мусульманами; большая часть их были идолопоклонники. Наиб поучал их мусульманской религии и проповедовал священную войну; в то время страна эта была вполне подготовлена к проповедям подобного рода, так как все тамошние князья, вследствие беспрестанных сношений с Турцией, большей частью, были уже обращены в исламизм. На этом-то и основал вначале все свои действия наиб, и с помощью этих князей обратил в исламизм силою все население края. Религиозная пропаганда распространялась с необыкновенной быстротой, и в скором времени все адыге сделались мусульманами. Но этот первый успех не мог удовлетворить наиба, и когда обращение в мусульманство сделалось уже повсеместным, тогда он приступил к выполнению главной

цели его миссии — регулярной отправки материальной помощи Шамилю. Имея в виду, однако, при этом серьезные затруднения и опасаясь оппозиции, наиб возымел счастливую мысль освободить из невольничества всех пленных русских и, обратив их в исламизм, составить из них ядро маленькой армии. План этот вполне удался наибу; благодаря этому небольшому военному отряду, он мог пользоваться соревнованием, всегда существовавшим между этими полудикими племенами, и, нейтрализуя и тех и других, он, таким образом, был полным над ними властелином. Он начал собирать с них подати, набирать из населения солдат и оказал тем большую услугу Шамилю. Наиб объезжал, во главе своей шайки, по всем горам, обязывая всех обитателей собраться в его лагерь для молитвы Аллаху, а также и для приношения контрибуций. Все непокорные без всякой пощады были убиваемы, и малейшее приказание грозного наиба исполнялось беспрекословно.

Такая система управления страною продолжалась до тех пор, пока держался Шамиль; но как только он был взят, наиб, очень хорошо сознавая всю опасность своего положения, счел за лучшее немедленно же бежать в Турцию, к великой радости черкесов, для которых иго его становилось, наконец, невыносимым. Странная вещь, однако, подобная система обращения имела положительный успех, и все черкесы, в самое короткое время, сделались совершеннейшими мусульманами; особенно замечательно то обстоятельство, что новообращенные с необыкновенною точностью исполняли все предписания Корана; черкесы никогда не едят свинины, соблюдают пост рамазана и исполняют все обычаи молитвы так же точно и правильно, как какой-нибудь муфти.

Фома был в составе партии наиба, и он точно так же, в продолжение нескольких лет, странствовал с наибом по всем горам, среди которых мы находились в настоящее время. И если черкесы были наполовину идолопоклонники и наполовину мусульмане, то Фома представлял в этом случае феномен совершенно особого рода. В одно и то же время он был и ревностнейший католик и усердный мусульманин; в начале и после всякого принятия пищи он непременно произносил католические молитвы, а когда муфти призывал верных к молитве, ничто не могло помешать Фоме самым поспешным образом занять место в рядах черкесов и молиться вместе с ними. Когда ему случалось быть иногда чем-нибудь сильно пораженным, он тотчас же, с необыкновенною быстротою осенял себя крестными знамениями, что, однако, нисколько не мешало в то же время, тяжело вздыхая, как это обыкновенно делают сыны пророка, произносить слова: «Аллах, Аллах». Все это Фома делал с такою наивною простотою и с такою теплою верою, что нужно было иметь слишком жестокое сердце, чтобы отказать ему в отпущении грехов. Впрочем, если и водились за этим несчастным какие-нибудь грешки, то он искупил их самым усердным покаянием: жизнь в этих горах была сцеплением тысячи разных приключений "и несчастий, о которых трудно составить себе понятие.

Когда наиб бежал в Турцию, черкесы выместили на его приближенных все притеснения, которые они терпели от него, и умертвили всех их. Фома спасся от мести черкесов, и благодаря ходатайству одного князя, которому он оказал какую-то услугу, он сохранил даже свободу. Он поселился на жительство в одном ауле, обрабатывал землю, женился; одним словом, сделался вполне черкесом.

Ко времени нашего прибытия в землю черкесов, партия-отряд абадзехов напала на дом Фомы, разграбила его, подожгла и убежала, захватив все имущество Фомы и даже жену его; спасая себя от когтей этих хищников, Фома встретился, как сказано выше, с нами. В скором же времени он сделался вполне нашим сообщником, и знание им местности было нам чрезвычайно полезно. Благодаря ему, мы могли дать себе отчет во множестве таких дел, которые мы бы никогда не поняли без его содействия. Он, между прочим, посвятил нас во все тайны и подробности общественного и политического устройства этой оригинальной и своеобразной страны.

Нас очень удивляло, что мы не встречали в этой стране не только города, но даже ни селения, ни деревушки; оказалось, что ничего подобного и не было там; аулы же разбросаны по горам, на различных расстояниях один от другого. Все аулы, расположенные в одной долине, составляли общину и обозначались названием долины.
Жители выбирали одного из своей среды, обыкновенно, самого старого, для обсуждения незначительных споров, которые не стоило доводить до обсуждения на народных собраниях. Старшина этот в военное время заведовал контингентом небольших конфедераций, и нередко случалось, что простой старшина, подобного рода, имел гораздо более влияния в стране, чем какой-нибудь князь. Значение обязанностей старшины определялось количеством соединенных аулов и зависело еще от личной храбрости и особенно от набожности должностного лица; если это был хаджи, т.е. совершивший путешествие в Мекку, то значение его было весьма важное. Надобно, впрочем, заметить, что когда в долине был такой аул, в котором проживал князь, то обыкновенно он избирался постоянно для управления делами, и в этом случае избирательная должность делалась почти наследственною.
После нескольких дней пути мы прибыли к одному месту, составлявшему пункт весьма важный, на гребне гор, отделявших нас от русских. В этом-то пункте и должна была собраться вся вооруженная сила страны. Мы нашли там всего только 200 или 300 шапсугов, которым было поручено наблюдение за неприятелем и защита горного прохода; посты их, укрытые по скатам гор, простирались до самого расположения русских, находившихся от нас почти на час ходу. Первой нашей заботой было обрекогносцировать расположение неприятеля. С пункта, с которого мы могли обозреть это расположение, мы очень ясно видели белые палатки и расставленные в порядке орудия; приблизившись же еще более, мы могли различать даже людей и лошадей, двигавшихся по лагерю.
Мы имели против себя авангард колонны, занимавшей все пространство до реки Кубани, которая составляла операционный базис русских.
Русские, очень хорошо знавшие, что у черкесов не было артиллерии, совершенно безопасно подвигались все более и более в горы. К несчастью, наши орудия были так тяжелы, что, ввиду состояния дорог в крае, нечего было и рассчитывать на содействие их. Неприятель расположен был в овраге, на берегах реки Пшехи; лагерь его был защищен с одной стороны рекою, с другой земляным валом, окруженным глубоким рвом; в отряде русских было около 20-ти горных орудий.
По возвращении к месту расположения нашего, нам был устроен самый блестящий прием. Черкесы убили несколько коз и наварили для нас проса; во время обеда и после него они развлекали нас своими воинственными песнями, весьма мало гармоничными, но зато чрезвычайно оригинальными. Среди самого празднества к нам приведено было несколько бродяг, захваченных на аванпостах; они были обезоружены и со связанными за спиною руками. Арестанты держали себя вообще с достоинством; но по их беспокойным взглядам было заметно, что их совесть не совсем-то чиста. Один из начальников допросил их, затем велел отправить под сильным конвоем в горы. Мы не видели более этих людей и так и не знали, что с ними случилось. Вообще мы избегали входить в разные административные распоряжения черкесов и предоставляли им самим управлять их делами, без всякого с нашей стороны вмешательства.
На следующий день горцы начали прибывать в наш лагерь небольшими партиями, и, по истечении нескольких дней, отряд наш возрос от 3 до 4 тыс. человек. Русские не наступали, и все их действия ограничивались рекогносцировками, которые были легко отбиваемы нашими аванпостами; но мы рассчитывали, в скором времени, сами перейти в наступление. Однажды утром полковник Пржевольский, сопровождаемый Измаил-Беем, и один из нас, европейцев, отправились на рекогносцировку позиции русских. Их эскортировал многочисленный отряд горцев, и проводником у них был смышленый, бойкий шапсуг Илеппи, родившийся в этой стране и потому знавший ее, как никто.

Лучшего проводника нельзя было выбрать; Илеппи, со времени прибытия в край русских войск, всегда находился в виду и вблизи их расположения; все дни и ночи он прятался по кустам, за скалами, выжидая и выискивая с каким-то диким терпением своей жертвы; он не выпускал ни одного заряда из своего ружья наудачу; при его необыкновенной ловкости всякий русский, подстереженный им и в которого он направлял свой выстрел, наверное можно сказать, был им убиваем. Не один, впрочем, Илеппи занимался подобными упражнениями; везде вокруг расположения русских войск было по нескольку стрелков, которые, пользуясь разными закрытиями, беспрестанно тревожили их и нередко пробирались даже в самые их лагеря.

Проехав большое расстояние лесом, наш отряд очутился на дне большого оврага, и, судя по пройденному расстоянию, он должен был находиться вблизи неприятеля. И действительно, Илеппи внезапно остановился, схватил свое ружье, выстрелил и закричал: «Москов, Москов». Не успел он произнести этих слов, как из густой чащи, почти в упор нашему отряду, открылась жесточайшая оружейная пальба. Илеппи и трое его товарищей были убиты. Отряд бросился назад; каждый торопился спешиться и укрыться за деревьями. В этот момент русские, продолжая пальбу, двинулись вперед; но едва они вышли из чащи, как были остановлены огнем черкесов. Барабаны забили тревогу; очевидно было, что весь гарнизон русских тотчас же выступит к месту действия, и потому Измаил-Бей подал сигнал к отступлению. Отряд наш начал медленно отходить назад, постоянно удерживая неприятеля; всякий раз, как русские выходили на открытые поляны, они вывозили свои орудия и обстреливали ими всю окружающую местность.

Все это время мы, остававшиеся в нашем лагере, наслаждались полным спокойствием; когда же услышаны были пушечные выстрелы, всё засуетилось и пришло в страшное смятение. Черкесам представилось, что отряд наш попал в засаду; испуская страшные возгласы, никого и ничего не слушая, они бросились к месту, откуда были слышны выстрелы. Мы последовали за ними и вскоре очутились лицом к лицу с неприятелем. Русские уже были близко; лазутчики их отлично указывали им путь; сражение завязалось по всей линии. Горцы, укрываясь за камнями, утесами и древесными стволами, следили за неприятелем, и каждый раз, как выстрелы их достигали русских, они изъявляли восторженные клики; заряжая снова свои ружья, они продолжали этот маневр до тех пор, пока могли следить за неприятелем, а как только он скрывался, горцы переменяли места и снова открывали пальбу. Русским, напротив, приходилось быть постоянно открытыми и с большим трудом взбираться на крутые отроги, на флангах которых мы находились в засаде. Наступление их было стремительное; стрелки их уже было овладели скатом, как вдруг они остановились, направив самый убийственный огонь на те места, где они предполагали главную массу горцев. Тем временем черкесы, не прекращая пальбы, стали незаметно приближаться к русским, с тем чтобы окружить их. Завязалась убийственная ружейная перестрелка; каждую минуту мы видели, как вырывались целые ряды русских, к несчастью, им удалось подвезти несколько орудий; немедленно же они открыли из них огонь, и страшный гул орудийных выстрелов смешался с ружейными залпами. Весь этот шум и трескотня раздавались с такими раскатами по горам, что не было никакой возможности говорить, и даже раздирающие душу пронзительные крики горцев сливались в общее эхо и уже не были слышны. Ряды наши страшно редели, но огонь не умолкал ни на минуту. Неприятельские орудия были мишенью для наших стрелков, которые страшно поражали артиллерийскую прислугу, и хотя новые артиллеристы заменяли убитых, но мы хорошо видели, что русские не могут долго оставаться в той невыгодной позиции, которую они занимали; но они не подавались назад и, видимо, хотели воспользоваться пылом сражения, чтобы окружить нас. Одна колонна их, отделившись вперед, стремительно бросилась на наш левый фланг с намерением овладеть высотою, нами занимаемою, и обойти нас. Но не успела она еще двинуться с места, как Хаджи Керендук бросился на нее во главе убыхов. Русские, пораженные стремительностью этой атаки, едва

имели время сделать несколько выстрелов; стесняемые в своем движении кустарниками и скалами, они не могли сгруппироваться, неровность же местности не позволяла им ударить массою в штыки, прежде чем они успели опомниться, на них посыпались сабельные удары черкесов. Натиск был так стремителен, что в одно мгновение половина русских была изрублена, остальные бросились в беспорядке назад. Вся эта свалка произошла с поражающей быстротой, и Хаджи Керендук возвратился назад во главе своих рубак, отряхавших окровавленные сабли, много из них было раненых, но вообще же потеря их в этой сшибке была невелика.

Русские оставили поле сражения с такою поспешностью, что не подняли даже всех своих убитых и раненых; тут только мы увидели, с какою дикою яростью произошла вся эта свалка; русские, оставшиеся на месте, буквально были иссечены; на них не было человеческого образа; кое-где валялись также трупы горцев, заколотых штыками; бывшие тут же раненые не подавали уже ни малейших признаков жизни, и на месте, где еще так недавно происходила самая ожесточенная свалка, царствовала глубокая, мертвая тишина.

Все дело кончилось тем, что русские не успели завладеть ни одною пядью земли; тщетно они старались несколько раз прорвать нашу линию; они выказывали удивительную храбрость и мужество, эскаладируя крутые скаты и страшные высоты, которые мы занимали. И если бы им удалось овладеть ими, наше положение было бы крайне затруднительно, так как, заняв единственные дефилеи, которыми мы могли пройти, они могли бы нас перестрелять всех поодиночке, не пропустив ни одного. Но как только они не успели защитить себя огнем своих орудий, черкесы, воспользовавшись знанием местности, окружили и атаковали их.

Приближался вечер; русские продолжали отходить назад, и мы, следя за ними шаг за шагом, проводили их до самого лагеря, продолжая поражать их ружейными выстрелами. Мы пытались ворваться на плечах их в самый лагерь, но русские приняли против этого надлежащие меры, и едва мы вышли из-за закрытий, как были встречены убийственными картечными залпами, а резервы их, скрытые за парапетами, открыли по нас, почти в упор, ружейную пальбу. Отряд наш был отброшен в страшном беспорядке назад и уже более не возобновлял этой атаки. Так кончился этот день, стоивший нам 300 человек, выбывшими из строя. Русские потеряли гораздо более, и пропорция их потери относительно нашей была бы еще более неравномерна, если бы мы не попали под страшный картечный и ружейный огонь под конец дня. Значительно большая потеря русских делается весьма понятною, если мы припомним, что им приходилось действовать большею частью открыто, тогда как мы постоянно находились за разными закрытиями.

Черкесы подобрали всех своих убитых, рискуя в этом случае подходить даже под выстрелы русских; в продолжение целой ночи они собирали трупы, лежавшие вблизи неприятельских укреплений, и русские часовые беспрестанно стреляли по ним.

Умерших закутывали в плащи, связывали веревками, как мумий, и, надвинув на глаза шапки, укладывали их рядом на соломенных подстилках среди нашего бивуака. Раненые размещены были кругом костров, и все, кто только мог, начали им помогать; все, что могли мы предложить им с своей стороны, были рубашки, которые раздирались на куски и служили для раненых вместо бинтов. Далее этого мы не могли простирать своих попечений о раненых, иначе в случае их смерти черкесы стали бы говорить, что мы, неверные, принесли им несчастье. Зато старый Хаджи, который был тут же, с нами, вне всякой опасности подвергнуться злым нареканиям, рассыпал дары своего пресловутого лечения, и всех и каждого обделял своим целебным питьем. Большая часть ран были очень опасны; постоянно попадались нам на глаза несчастные или с перебитыми членами, или с телом, пронзенным насквозь штуцерными пулями. Раненые истекали кровью, и решительно не было никого, кто бы мог им сделать надлежащую перевязку; об ампутации и помину не было. А между тем целые группы черкесов толпились и преимущественно около тяжело раненных, выражая полное соболезнование к их страданиям и, видимо,

желая помочь им; на легко раненных не обращалось почти никакого внимания, а их можно было бы вылечить при помощи самых простых средств.
Многие раненые не пережили ночи, другие умерли в течение следующего дня, а к концу одного месяца, исключая разве только уж очень легко раненных, остальные все перемерли. Страдания от ран черкесы переносили с необыкновенною твердостью; даже тяжело раненные не выражали громко своих страданий, стараясь показать вид, что они ничего не чувствуют; они без малейших предосторожностей предавались своим обычным работам, и на предложение наше не утруждать себя и отдохнуть, они всегда отвечали, что это ни к чему не может послужить и что они гораздо лучше сделают, так как им уже суждено от бога умереть, если они не будут идти против его предопределения.
Вид нашего лагеря был крайне печальный: посреди его стояли постели с мертвыми, число которых ежеминутно увеличивалось; кругом всех костров валялись полуобнаженные и окровавленные раненые. Часов в двенадцать ночи нам послышалось погребальное пение. Все окружающие костры начали напевать низким голосом погребальные, заунывные припевы, между тем как один из них визгливым, пронзительным голосом перекрикивал остальных, необыкновенно явственно произнося слова и стараясь попасть в такт и останавливаться одновременно с аккомпанировавшими ему; в завываниях этих черкесы поминали умерших и рассказывали их биографии. Таких хоров было от 15-ти до 20-ти, и каждый из них пел независимо один от другого; тот страшный концерт, продолжавшийся до самого утра, не дал нам сомкнуть глаз, что, впрочем, было и кстати, так как мы постоянно ожидали нападения русских.
С наступлением дня черкесы натащили огромных древесных ветвей и наделали из них род носилок для перенесения умерших и раненых. Как только приготовлялись такие носилки, двое черкесов брали их на плечи и несли или раненых или мертвых; двое же других, назначенные для смены, ожидали своей очереди нести носилки. Все мертвые и раненые были отнесены в их аулы; таков был обычай страны, против которого нечего уже было и ратовать. Между тем это приводило нас в отчаяние; тех, которых нужно было нести, было такое множество, что вся эта процессия скорее походила на наше отступление; к полудню с нами осталось на позиции не более 500 или 600 человек.
Наши лазутчики предупредили нас, что идет русский транспорт. Действительно, мы увидели целую вереницу лошадей, вышедших из своего лагеря и направившихся к Кубани; очевидно было, что русские, знакомые с обычаями черкесов, хотели воспользоваться временем, чтобы отправить своих раненых и привести подкрепление. Вместе с тем мы видели также, как они строили укрепление на высоте, командовавшей их ретраншементами; но, несмотря на все желания, мы были так малочисленны, что нечего было и думать о наступлении.
Мы так были уверены, что неприятель не предпримет никакого движения до прибытия к нему подкреплений, что решились воспользоваться несколькими днями, чтобы объехать землю шапсугов и набрать там людей. Мы пустились немедленно в путь и к вечеру того же дня прибыли в Туапсе. О Туапсе нам всегда говорили, что это есть торговый центр всего края и что местность здесь чрезвычайно живописна. Представьте же наше удивление, когда мы приехали на берег моря, к устью небольшой речки, ниспадавшей с гор, и увидали тут до сотни хижин, подпертых камнями из разрушенного русского форта и покрытых гнилыми дырявыми досками. В этих-то злосчастных хижинах проживали турецкие купцы, торговавшие женщинами. Когда у них составлялся потребный запас этого товара, они отправляли его в Турцию на одном из каиков, всегда находившемся в Туапсе. Каики эти, вытянутые на берег, прятались здесь следующим образом: кузов судна помещался в чаще кустарников, мачты же обложенные ветвями, совершенно сливались с окружающею растительностью. Внутренность хижин была очень оригинальна; невольницы сидели в них на корточках, вокруг огней, и когда посетитель приближался к ним, они поспешно вставали, кланялись и, потупив глаза, оставались неподвижными, в ожидании

обращения к ним с речью. Несмотря на их довольно оборванные, невзрачные костюмы, все они были очень красивы и веселы, и перспектива отправки их в Турцию, по-видимому, нисколько их не смущала. Оно и понятно; несчастные эти, обреченные сызмала на страшные, тягостные работы, вообще угнетаемые мужчинами, утешали себя надеждою, что, вероятно, с ними лучше будут обходиться в Турции, чем на родине. Вместе с тем, в мусульманских странах обычай продавать девушек — всеобщий, и какой-нибудь турок в Константинополе продает свою дочь ее мужу точно так же, как и несчастных черкешенок в Туапсе. Кроме того, рабство женщин не считается постыдным, гнусным делом у этих народов. Продать женщину, это, по понятиям горцев, значит выдать ее замуж, и торговцы невольницами считаются только заинтересованными опекунами, устроителями брачных союзов. А между тем в Турции черкешенки, при случае, могут попасть из хижины ее обладателя в гарем какого-нибудь паши, а пожалуй, и самого султана. И это случается весьма часто, особенно с красивыми черкешенками, возможность подобного улучшения их быта тешит несчастных невольниц, и они без всякого сожаления покидают родной свой очаг.

На следующий день мы отправились в землю шапсугов, останавливались в каждой долине и, созывая народ, просили подкреплений. Вообще нас принимали очень хорошо и везде обещали помочь; но Измаил-Бей, знавший людей, с которыми мы имели дело, предупреждал нас, чтобы мы не рассчитывали на то число людей, которое нам было обещано, и что вообще в шапсугах заметно большое уныние. Мы, впрочем, и не настаивали на слишком больших требованиях.

В то время, как мы совершали этот объезд, начались дожди. Произошло нечто вроде потопа. Ручьи и речки сделались непроходимыми, а горные тропинки до того сделались скользкими и так растворились, что невозможно было отчаиваться пускаться по ним.

Ночью к нам прискакали эмиссары и объявили, что русский отряд, расположенный невдалеке, Находится в отчаянном положении. Дело в том, что от необыкновенно сильных дождей овраг, в котором расположился неприятель, был совершенно затоплен. Наводнение это, случившееся при страшной темноте, опрокидывало и увлекало с собой людей, лошадей, палатки, орудия. С вершины, на которой мы находились, до нас достигали страшные вопли, крики и невыразимый шум. Ясно было, откуда исходили эти крики и какие потрясающие сцены происходили внизу, на дне пропасти, но темнота была такая, дороги так страшны и дождь так силен, что никому из нас и в голову не приходило помогать еще в этом случае стихиям против русских.

И только днем мы увидели всю страшную картину ночного разрушения.

Обстоятельство это было благоприятно нам, и наш отряд значительно увеличился. К несчастью, вслед за тем наступили холода, и горцы, не имея возможности забирать с собою большие запасы провизии, были вынуждены каждый раз, когда она у них выходила, возвращаться к себе в аулы, так что мы решительно не могли определить, какими силами мы можем располагать. Продолжая, однако же, наш объезд по стране и проповедуя священную войну, мы всеми мерами старались поднять упадавший дух и возбудить энергию в населении. Во время этих объездов мы имели случай вблизи видеть поражающую нищету этого несчастного народа; ежедневно мы встречали новые партии горцев, выселявшихся в земли, еще не занятые русскими. Последние дожди и наводнения погубили большое число этих переселенцев, и мы беспрестанно встречали на пути нашем трупы. Голод был страшный; много несчастных погибло от него, и мы не могли оказать при этом горцам никакой помощи. Мы сами были в крайне стесненном положении и не раз испытывали большие лишения. Без провизии, без закрытий, мы располагались весьма часто в лесах и под утесами, отдавая себя на жертву всяким непогодам; иногда нас принимали в аулах, но мы бежали оттуда, боясь заразиться болезнями, которые уничтожали целые населения аулов. Так, однажды, во время нахождения нашего в одном ауле, в нем умерло восемь человек от тифа. Мы тотчас же оставили этот аул, предпочитая

столь опасный приют риску умереть с холода и голода. Наконец, мы приблизились к расположению русских.

Горцы привезли наши орудия, и мы расположились на позиции на одном холме, в расстоянии часа ходьбы от неприятеля; аванпосты наши заняли все промежуточное пространство. К сожалению, наличное число наших сил беспрестанно подвергалось таким колебаниям, что мы решительно ничего не могли предпринять. Холод между тем усиливался; каждую ночь у нас умирали часовые, и случалось даже и так, что целые пикеты замерзали. Подобное положение дел не могло долго продолжаться; черкесы по-прежнему продолжали оставлять нас, даже не предупреждая о том. Мы не могли сформировать прислуги при орудиях, потому что горцы, истрачивая свои запасы провизии, уходили в аулы, и мы не имели времени обучить их артиллерийским приемам.

Полковник Пржевольский, видя такой оборот дел, снова отправился с несколькими черкесскими начальниками, с целью собрать некоторый запас провизии; запас этот дал бы нам возможность иметь в нашем расположении хотя небольшой, но постоянный отряд.

Однажды на рассвете к нам вбежал запыхавшись черкес с криком: «москов, москов». Вслед затем послышалась ружейная пальба. Русские сбили наши аванпосты и наступали на нас. Застигнутые врасплох, мы поспешили запречь орудия и отправить их назад, выслав навстречу неприятеля часть наших людей под командою Жамбулетта. Но русские, взобравшись на высоту, командовавшую нашею позициею, направили на нас смертельный огонь, прежде чем мы успели отступить. В несколько минут небольшой наш бивак завален был убитыми и ранеными. Орудия были спасены, но все боевые припасы остались на месте. Жамбулетт был убит, и его отряд бросился бежать, теснимый густою колонною русских. В эту минуту прискакали хаджи Керандук и Измаил-Бей. Видя, что нет никакой возможности держаться, хаджи Керандук схватил горячую головню и поджег соломенную крышу порохового погреба. Мы вскочили на лошадей и едва успели отъехать несколько шагов, как последовал страшный взрыв. Русские, пораженные этим взрывом, остановились и, опасаясь, что не подведена ли мина или не сделана ли засада, возвратились на высоты, продолжая оттуда стрелять по нас. Эта непродолжительная задержка дала возможность подойти к нам подкреплениям; скоро к отряду присоединились все жители окрестных аулов, и мы атаковали, в свою очередь, русских. Снова завязалось дело, и русские понесли большую потерю, так как им пришлось весь путь, пройденный ими утром под покрытием тумана, теперь пройти под выстрелами горцев. Отряд наш был малочислен; в противном случае, мы не пропустили бы ни одного русского живым в их лагерь.

Хотя в результате день этот прошел для нас благополучно, тем не менее мы видели, что нам нельзя было долго сопротивляться и что невозможность сформировать значительный отряд делала все наши усилия тщетными. Тогда мы решились отправить одного из нас в Турцию, что бы он мог объяснить друзьям черкесов, в каком страшном положении находятся их дела; сами же мы решились, впредь до получения каких-либо подкреплений, отстаивать страну шаг за шагом.

С этих пор между черкесами и русскими происходило несколько незначительных стычек, подобных только что описанной. Неприятелю также нельзя было производить больших движений, так как страна покрылась снегом, и даже мы, руководимые черкесами, постоянно встречали огромные затруднения, путешествуя по этим горным ущельям. Невыразимых, страшных усилий стоило нам выполнение нашей миссии, заключавшейся в поддержании вооруженного положения страны. Все время мы проводили в беспрестанных разъездах по стране, переезжая от одних аванпостов к другим и заботясь о том, чтобы все главные проходы были защищены вооруженными партиями.

Наши объезды становились день ото дня более и более печальны; общественное бедствие возрастало; число эмигрировавших постоянно увеличивалось. Со всех мест, последовательно занимаемых русскими, бежали жители аулов, и их голодные партии

проходили страну в разных направлениях, рассеивая на пути своем больных и умиравших; иногда целые толпы переселенцев замерзали или заносились снежными буранами, и мы часто замечали, проезжая, их кровавые следы. Волки и медведи разгребали снег и выкапывали из-под него человеческие трупы.

Однажды, вечером, мы с одним поляком офицером заблудились в горах; шесть убыхов, сопровождавших над, сами не могли определить, куда мы попали. Мы ехали с самого утра; утомленные лошади наши беспрестанно спотыкались, а солнце было уже близко к закату; нам приходилось останавливаться, так как в стране этой, когда снег занесет все тропинки, чрезвычайно опасно пускаться в путь ночью, и на каждом шагу можно рисковать свалиться в пропасть. Перспектива провести ночь среди ущелья и подвергнуться нападению волков заставила нас ускорить наш марш; конвоировавшие нас убыхи напрягали все усилия, чтобы распознать и определить местность, в которой мы находились; но все было тщетно. Между тем мы ехали по таким местам, с которых можно было далеко видеть: мы находились на гребне очень высоких гор, тянувшихся от моря и соединявшихся с главным кавказским хребтом. Под нами расстилались долины с их причудливыми, многочисленными извилинами, но глазам нашим не представлялось ничего, кроме густого белого покрова, однообразно расстилавшегося по всем окрестностям. Только темные стволы пихты и дуба одни были видны из-под снежной поверхности; порывистый северный ветер с необыкновенною силою стряхивал с их ветвей серебристый иней. Позади нас расстилалась темная поверхность моря; скользившие по нему светлые лучи заходившего солнца отражались своим блеском на матовой белизне гор. Вокруг нас раздавались только храпение наших лошадей и пронзительные крики громадных орлов, паривших над нашими головами.

Вдруг, на повороте около небольшого пригорка, мы наехали на несколько хижин, занесенных снегом, из-под крыш которых струился дымок; то был аул. Мы решились переночевать в нем и, проскакав несколько шагов, очутились около плотной живой изгороди, кусты которой, очищенные от листьев, грозно выказывали остроконечные свои иглы. Сойдя с коней, мы нашли низенькую калитку и вошли в ограду. Целая стая худых, поджарых собак бросилась на нас со страшным лаем; проводники наши пустили в ход свои нагайки и угомонили так неприветливо нас встретивших животных. Людей не было видно никого, мы полагали, что аул этот необитаем; убыхи наши что-то прокричали, тотчас же отворилась одна дверь, и в ней показался человек, вооруженный топором. Конвойные наши объяснили ему, кто мы такие, и потребовали от нашего имени - гостеприимства. Во время этих объяснений я занялся рассмотрением любопытной личности вышедшего к нам человека. Это был невольник; поярковая, остроконечная его шапка и вообще оборванный вид всего его костюма не оставлял в этом отношении никаких сомнений. Ему было по крайней мере лет 60; он был весь сгорблен и по снегу ходил на босую ногу; его длинная, седая борода клочьями спускалась на грудь; густые брови почти совсем закрывали его глаза, в которых какая-то особенная, дикая выразительность нас поразила. Индивидуум этот посматривал на нас с явным недоброжелательством; затем он отправился в хижину, чтобы спросить приказаний своего господина, тотчас же оттуда возвратился и повел нас в соседнюю избу, где с необыкновенною поспешностью развел огонь. Пять или шесть других невольников взяли наших лошадей и помогли нам снять с себя наше оружие, затем они принесли ковры, циновки и, следуя обычаям страны, мы обмыли ноги в деревянной чашке, наполненной водой и сделанной с разными вычурными украшениями. Когда мы окончательно разместились, хозяин прислал нам блюдо орехов и чашку молока. Во время этой закуски мы кое-как, с грехом пополам, вели разговор с окружающими нас невольниками. Особенных усилий стоило понимать друг друга, как вдруг старик-невольник, встретивший нас, обратился к нам по-русски.

— Ты русский? — сказал мой товарищ, проведший 15 лет в Сибири и благодаря этому обстоятельству отлично говоривший по-русски.
— Да,— ответил он,— я из Нижнего.
Тогда мы обратились к нему с расспросами, и он подробно объяснил нам, кто наш хозяин и где мы находимся. Хозяин наш был один из шапсугских начальников, игравший довольно важную роль в стране. В последней экспедиции этого племени против русских два сына его были убиты и у него самого была раздроблена осколком гранаты правая рука.
Суровые черты лица невольника постепенно умягчались; по лицу его было видно, как он был счастлив поговорить на родном языке, и хотя он употреблял в своей речи множество черкесских слов, но его можно было легко понимать. На вопрос наш, сколько времени он находится у черкесов, он отвечал нам, что уже около 45-ти лет.
— «Но ты же был еще слишком молод, чтобы быть солдатом, — возразили мы ему, — как же тебя взяли?»
— «Мне было едва только 15 лет, как меня отправили из Одессы юнгою на одном русском судне. Ночью поднялся сильный северо-восточный ветер, и мы сели на мель около черкесского берега, в расстоянии двух лье отсюда. Судно разбилось, экипаж пересел в лодки; но они не могли держаться в море и были выброшены на берег, меня схватило несколько горцев, и начальник их, отец теперешнего моего господина, взял меня к себе на лошадь и привез сюда. После я уже узнал, что все мои товарищи были перебиты горцами. Я сделался рабом. Пока я был молод и слаб для всякой другой работы, мне вверено было стадо овец, которых я пас в горах. То было лучшее мое время; я бродил по окрестностям, гоняя мое стадо; целые дни я проводил на неприступных вершинах и привык к этому уединению. Но как только я подрос, меня заставили пахать землю и рубить дрова. Работы эти были тяжелы тем более, что господин мой, не желая уничтожать лес, окружавший его дом, посылал меня в отдаленные места. Я рубил там дрова и должен был приносить их на своих плечах, никогда не имел отдыху, вечно работал, к тому же меня часто и сильно наказывали. Я был несчастлив, как только можно быть несчастливым».
«Несколько времени я льстил себя надеждою быть освобожденным; мне говорили, что русские очень часто выкупают или обменивают своих пленных, и я пытался убедить моего хозяина сделать и со мной то же; но он и слышать этого не хотел, и все мои мольбы разбивались об его упрямство».
— «У меня нет родственников в плену у русских, — отвечал он мне постоянно, — я не могу тебя обменять.
— Продайте меня,— просил я его.
— За тебя не дадут дорого.
— Но выкупают же других.
— О, другие; это совсем иное дело, отвечал он мне; то солдаты, их знают начальники, и они всегда готовы заплатить за них, чтобы только выручить их. А ты, когда я тебя взял, ты был еще ребенок, ты не сын какого-нибудь бея, никто тобою не интересуется, и никогда не заплатят за тебя хорошей цены, наконец, ты мне нужен; если тебя не будет у меня, мне придется взять другого невольника; словом, я хочу, чтобы ты остался при мне. Другого ответа не слышал от него, и я перестал возобновлять этот разговор. Несколько раз мне приходило на мысль лишить себя жизни; но мне все казалось, что как-нибудь я еще освобожусь, и эта мысль привязывала меня к жизни. Я был неправ в этом случае; но теперь уже поздно; не стоит труда, я уже стар, и мне не долго уже осталось жить».
Несчастный опустил голову и помолчал несколько минут, обуреваемый всеми этими плачевными воспоминаниями. Лицо его снова приняло то сумрачное, зверское выражение, которое нас так поразило при первой встрече с ним.
— И вы все это время постоянно оставались здесь? — спросили мы его.

— Нет,— отвечал он, — но лучше было бы, если бы я действительно не оставлял этих мест. Несчастие меня так гнело, что я решился бежать. Я очень хорошо знал, что если меня поймают, то меня убьют, но положение мое было так безотрадно и безнадежно, что я решился на все. В один прекрасный день, взяв с собою мешок с пшеном и вооружившись топором, я пошел сам не зная куда. Я не знал дорог, потому что все время, что я находился в этой стране, я никогда не удалялся от дома моего господина; но я не терял надежды и отправился в путь.

Я не помню, долго ли продолжалось мое путешествие; знаю только, что кое-как я достиг моей цели, мне приходилось обходить места; я шел окольными путями; дни проводил в лесах, рискуя быть разорванным дикими зверями, ночью пускался в дорогу. Я почти не затрачивал моего съестного запаса и прибегал к нему только в крайности; но и он весь истощился, я начал питаться корнями, и истощенный усталостью и голодом, я дошел, наконец, до поста, занимаемого русскими.

Меня отвели к генералу, и я рассказал ему свою плачевную историю. Сперва мне не верили, приняв за дезертира, и чуть-чуть не расстреляли. Но я так энергически восстал против этого, что с меня снова сняли допрос и, наконец, Поверили всем моим показаниям. Так как я хорошо владел черкесским языком, меня определили переводчиком, в армию. Тогда я сделался снова совершенно счастливым; во мне нуждались, как в хорошем толмаче, и я приобрел много денег. К сожалению, счастье это продолжалось недолго, и совершенно исключительное обстоятельство снова ввергло меня в бездну несчастья.

Мы были в Сухум-Кале, и там-то я познакомился с одной женщиной, которая меня и погубила. Она была родом из Мингрелии, чрезвычайно красива собой и имела мужа унтер-офицера русской армии. С моей стороны было крайне неблагоразумно, что я привязался к этой женщине, тем более, что она была, как и все женщины Мингрелии, колдунья; но должно быть мне было уж так суждено, и я не мог избежать моего рока.

Да, она была колдунья, повторил он, заметив, что мы усмехаемся, и она была причиною тому, что снова нахожусь вот здесь. У нее был невыносимый характер, и я с нею вскоре же поссорился; мы разошлись, и я не видел ее несколько времени. Однажды, едучи верхом, я встретился с нею; нас было только двое на дороге; она перешла мне дорогу, начертив передо мною на песке несколько крестов. Она сделала заговор против меня, но я не боялся этого и из предосторожности начал носить на себе волчью лапу. Мне казалось, что я спасусь от всех бед, потому что я видел, как черкесы употребляют это средство, чтобы спастись от заговоров волшебниц. Но мингрелки искуснее других в этом деле, и как я жалею, что у меня не случилось тогда образа св. Сергия, — все было бы благополучно; но я подумал об этом только после, когда уже было поздно.

И действительно, только что скрылась с моих глаз эта окаянная, как моя лошадь споткнулась о камень и я упал; тотчас же оправившись, я снова сел в седло, но не прошло и получаса, как я еще свалился раза три, чего прежде никогда со мною не случалось. Тогда я пришел к тому убеждению, что все потеряно и что как бы то ни было, а надо отделаться от заговорщицы.

Я привязал лошадь к дереву, а сам побежал к колдунье. Она была одна и, заметив меня, смеясь, обратилась ко мне со словами:

— Я хорошо знала, что придешь еще ко мне.

— Да, я пришел, но ты, наверное, не знаешь, что я хочу сделать с тобою, — отвечал я ей. И с этими словами я выхватил саблю и отрубил ей голову.

«Это было единственное средство избавиться от нее»,— сказал он нам, заметив неприятное впечатление, произведенное на нас этим рассказом.

— Я понимал хорошо,— продолжал рассказчик,— что мне нельзя было затем уже оставаться в стране, и я тотчас же скрылся в горы. Черкесы меня встретили там и препроводили к моему хозяину. С тех пор я не покидал этих мест. Неправда ли, что именно

этой проклятой колдунье я обязан всеми моими несчастьями; не будь ее, я был бы себе переводчиком, у меня были бы деньги, я был бы счастлив, а теперь — я невольник.

— Ну, а если русские придут сюда, что тогда вы будете делать? — спросили мы его.

— Что делать? Наверное, я буду повешен, и уж, конечно, эта колдунья будет губить меня до конца дней моих.

В продолжение почти трех месяцев мы употребляли все усилия, чтобы отстоять страну; мы переезжали беспрестанно от одного пункта к другому, возбуждая и поддерживая энергию черкесов. Но мы не могли поспевать всюду и, к несчастью, где только нас не было, горцы гибли от холода и голода, бросали свои посты и оставляли только по нескольку человек для наблюдения за неприятелем, и если бы не зима, мешавшая нашим движениям, но вместе с тем затруднявшая и наступление русских, — страна не могла бы более держаться. Каждый день пространство, которым мы владели, все более и более стеснялось, русские, хотя и медленно, тем не менее продвигались вперед, и ясно было, что с наступлением первых же хороших дней мы будем окончательно побеждены.

Переселение в Турцию день ото дня принимало все большие и большие размеры; горцы понимали, что не оставалось никаких средств бороться против русских, и нам стоило больших трудов задерживать эмигрировавших. Нас самих горцы начинали подозревать: мы обещали им подкрепления, но они не только не прибывали, но мы не получали из Европы никаких известий; около четырех месяцев мы предоставлены были исключительно сами себе и решительно недоумевали, что за причина столь продолжительного молчания со стороны наших и черкесских друзей в Европе.

А между тем шайки абадзехов, еще недавно покорившихся русским, пробегали страну, разоряя на пути все аулы и пытаясь взять нас живыми или мертвыми и доставить русским; за головы наши им были обещаны деньги. Тем не менее мы решились оставаться до получения новых известий, а вместе с тем, чтобы избегнуть упреков в оставлении начатого дела, когда представлялась еще хоть какая-либо возможность поддержать сопротивление. В это время еще легко можно было воспрепятствовать русским овладеть окончательно черкесскими землями. Достаточно было несколько сот европейцев, чтобы возродить энергию и мужество горцев, и тогда (группирование всех переселенцев, наводнивших небольшой клочок еще независимой земли, могло бы послужить средством к быстрому сформированию значительной армии. Но никаких известий, никаких подкреплений не приходило; мы с ужасом видели, что шансы нашего спасения день ото дня все уменьшаются, и мы ничего не могли сделать, чтобы продлить сопротивление.

Наконец, случилось обстоятельство, ускорившее наше окончательное решение: во время объездов наших в стране убыхов русские без всякого кровопролития овладели Туапсе; страх, возбужденный ими, произвел всеобщую панику; уже не было никакой возможности остановить эмиграцию, принявшую громадные размеры и вмиг опустошившую страну. Тогда мы решились уехать. Но нам необходимо было принять некоторые предосторожности, чтобы предупредить черкесов, которые могли нас упрекать за то, что мы побудили их продолжать войну, тогда как они имели возможность подчиниться русским еще в то время, когда мы только что прибыли в их страну. Упреки эти доходили уже до нас, и не представлялось никакой возможности разубедить этих грубых неучей, что нам не было никакого интереса вводить их в обман, а что если подкрепления не прибыли, то это происходило от причин, которых мы сами не могли объяснить себе и которые во всяком случае нисколько не зависели от нас.

Положение наше становилось еще более критическим, вследствие существования среди горцев одной партии, настаивавшей на заключении мирных договоров и подчинении русским. Мы не сомневались в том, что первое условие, которое будет предложено горцам, это — выдача нас, и мы боялись, что они не отвергнут этого предложения.

Впрочем, я должен сказать, что до сих пор условие это каждый раз было энергически отвергаемо и что мы никогда серьезно не сомневались в честности наших союзников.

Теперь же мысль о выдаче нас была более популярна, и нам не для чего уже было оставаться в земле черкесов, тем более что было очевидно, что продолжать борьбу не представлялось уже никакой возможности.
Измаил-Бей, хорошо понимая все эти затруднения, собрал последнее народное собрание, на котором было решено прекратить борьбу и всем отправиться в Турцию. После этого и наш отъезд был вполне законен, и оставалось только приискать удобный к тому случай.
Со времени занятия русскими Туапсе множество турецких судов прибыло к черкесскому берегу, которые за весьма умеренную плату доставляли в окрестности Самсуна или Трепизонда всех покидавших страну. Обстоятельство это как нельзя более было для нас благоприятно, так как среди всех этих судов нам можно было легко проехать Черное море незамеченными. Русские, совершенно довольные тем, что им предстояла возможность отделаться от этого беспокойного населения, нимало не препятствовали отъезду черкесов и ограничились тем, что осматривали турецкие каики, встречавшиеся им, только для того, чтобы не пропустить нас, совершенно свободно пропуская в то же время всех эмигрантов.
Мы решились разделиться и отправиться в путь каждый отдельно. Через это мы не могли быть захвачены русскими все вместе, и мы надеялись, что кто-нибудь из нас вероятно попадет в Турцию здоровым и невредимым.
Как только выходил на берег турецкий капитан, горцы окружали его, и каждый спешил условиться в цене о перевозке его и его семейства; затем вечером, если ветер был попутный, каик спускался в море. Все договорившиеся с капитаном размещались на судне и, главным образом, старались поскорее выйти в открытое море, чтобы успеть за ночь пройти линию русских крейсеров. Черкесы так торопились уезжать в Турцию, а турки были до такой степени жадны и корыстолюбивы, что суда обыкновенно нагружались, что называется, доверху; триста или четыреста человек наполняли пространство, на котором в обыкновенное время помещалось от 50 до 60 человек. Вся провизия, которую горцы брали с собою, состояла из нескольких горстей пшена и нескольких бочонков воды; плавание открытым морем иногда продолжалось от 5-ти до 6-ти дней, и в таком-то положении и с таким запасом провизии этим несчастным приходилось совершать переезд, столь гибельный и столь опасный.
Когда подымалась непогода на море, каики, нагруженные так, что вода достигала до самых краев, не могли держаться в море и тонули. Те, которые были лучше устроены или менее нагружены, при волнении подвергались такой сильной качке, что несчастные пассажиры бились и давили друг друга. В хорошую же погоду — новые муки приходилось испытывать переселенцам; безветрие задерживало их плавание, и они предавались тогда на жертву всем ужасам голодной смерти.
Возвратившиеся турецкие матросы рассказывали нам подробности страшных сцен, которых они были очевидцами. Несколько судов с переселенцами потонуло; на других половина пассажиров, умершая в дороге, выброшена была за борт ранее прибытия в Трепизонд. И между тем горцы были так беспечны, паника была так велика, что дальнейшие отъезды сопровождались тем же полным отсутствием всяких предосторожностей; по-прежнему каждый хлопотал только о том, чтобы скорее сесть на судно, говоря, что участь их решена и что если придется умереть или погибнуть в море, то значит, что это уж было так назначено судьбою.
Страна представляла крайне плачевный вид; черкесы, расположившиеся на берегу моря, с нетерпением дожидались своей очереди к отплытию. Отчаяние и безнадежность так овладели этими несчастными, что им и в голову не приходило устроить себе на берегу шалаши, чтобы скрыться от непогоды. Единственная мысль, одно желание, их занимавшее, — это поскорее отправиться в Турцию; до всего остального им не было никакого дела, все дни они проводили в том, что взбирались на прибрежные утесы и оттуда криками и разными знаками манили к себе всякое показавшееся в море судно. Снег начинал уже таять, и это еще более увеличивало их нетерпение; они хорошо понимали,

что как только сойдет снег, русские не замедлят сюда явиться, и эта мысль отнимала у них и последнюю энергию.
Я уехал из Вардана с судохозяином Якубом, которого я прежде не раз встречал на берегу и который постоянно оказывал мне разные услуги. Он меня посадил около румпеля; мне хотелось тщательно проследить все детали амбаркации. К сожалению, погода была так пасмурна и сделалось так темно, что я ровно ничего не мог видеть. Каик был спущен в воду; мужчины, по пояс в воде, переносили
на себе жен и детей, и когда все семейство их было в полном составе на судне, тогда и они помещались на нем. Женщин спускали в трюм, где Якуб сам их рассаживал, заботясь, главным образом, чтобы не оставалось пустых мест. Число несчастных, которыми он завалил трюм, было уже переполнено; тем не менее как только являлась новая жертва, он находил средство и ее пристроить в трюме. Мужчины разместились на корточках на палубе в такой тесноте, что матросы, исполняя разные обязанности во время плавания, вынуждены были ходить по головам пассажиров.
Как только каик наполнился так, что уже не оставалось никакой возможности кого-нибудь еще в него втиснуть, Якуб уселся подле меня, поставил парус, и мы поплыли, и к утру были уже в открытом море. Тут только я имел возможность определить, что всех пассажиров на каике было 347 человек. Около полудня у нас поднялась тревога; замечена была со стороны берега незначительная черная точка: это было судно. Я начал его внимательно рассматривать, как вдруг я заметил, что черкесы обратились к одному старику — начальнику, который держал им оживленную речь, встречаемую всеобщим одобрением.
— Кто этот старик? — спросил я моего друга Якуба, — который говорит с черкесами.
— Он ничего не говорит,— ответил мне Якуб каким-то особенным голосом.
— Как ничего не говорит; мне даже кажется, что он именно обо мне говорит, — возразил я, увидя, что все глаза обращены в мою сторону и я сделался предметом всеобщего любопытства. — Что он говорит, отвечай же?
— Да, он говорит о тебе; но он не говорит ничего хорошего; сейчас все узнаешь.
Насколько меня это интриговало, может понять всякий, и я так пристал к Якубу, что он вынужден был сообщить мне обо всем происходившем.
— Они хотят тебя бросить за борт,— сказал он мне наконец.
— Если только это, впрочем, еще судно русское,— возразил он, чтобы хотя несколько успокоить меня. — Они говорят, что если русские найдут тебя у нас на судне, то они всех заберут в плен, между тем как если тебя не будет тут, то они пропустят нас так же свободно, как и других.
Положение мое было безвыходное; не рассчитывая на спасение, я начал следить за подозрительным судном с беспокойством и волнением, которые легко можно понять, но невозможно выразить. Проклятое черное пятно на море не шевелилось, и я, страшно напрягая свое зрение, лишился возможности что-нибудь различать... Наконец, я рассмотрел, что парус на судне был турецкой формы и что судно это был каик. Открытие это сильно меня обрадовало, и я должен сознаться, что и на всех моих пассажиров оно произвело приятное впечатление. Черкесам, видимо, сделалось неловко за их прежнее намерение против меня; они старались загладить страшное впечатление, произведенное на меня их замыслами, и обращались со мною с предупредительною любезностью, старик — начальник также обратился ко мне с разными оправданиями и любезностями, но я так был вооружен против него, что едва отвечал ему на все его ласки.
Дальнейшее плавание наше обошлось без всяких приключений. Первые два дня все обстояло благополучно; только к концу другого дня пришлось выбросить в море двух женщин и одного ребенка, задавленных от тесноты в трюме. На третий день умерли еще одна женщина и двое мужчин; на четвертый — пятнадцать человек, а на пятый — с самого раннего утра мы увидели уже берег. Мы изнемогали от усталости и недостатка в

пище; около двух дней у нас уже истощился весь запас провизии. И если бы пришлось еще оставаться 48 часов в море, то более половины пассажиров наверное бы погибло, прежде чем мы прибыли бы в Трепизонд.
Вершины высоких гор Малой Азии были покрыты еще снегом, а на берегу моря оливковые деревья были одеты сероватого цвета листьями. Приблизившись к берегу, мы заметили, что белоснежная поверхность земли была покрыта местами множеством расселин, промытых горными потоками; попадавшиеся время от времени широкие темные прогалины свидетельствовали о приближении весны, а вместе и о том, что в скором времени страна примет другой, более оживленный вид. Мы несколько лье шли около берега, так как самая близкая якорная стоянка была у Аче-Кале; только около этого пункта мы могли близко подойти к берегу и безопасно высадить женщин и детей. Время от времени небольшие турецкие деревни, живописно расположенные на морском берегу, выказывали свои белые домики и остроконечные минареты мечетей... Черкесы с любопытством рассматривали новое свое отечество; Алла Акбар, Алла Акбар (великий бог), повторяли они беспрестанно, благодаря всевышнего, что он позволил им достигнуть конца их странствования.
Я видел уже, несколько месяцев тому назад, Аче-Кале и тотчас же узнал довольно возвышенный выдавшийся в море мыс, на вершине которого находился маленький турецкий форт; к нему-то мы и должны были пристать. Со времени моего отъезда из Аче-Кале форт этот был оставлен, и в окрестностях его проживало только несколько бедных рыбаков. К удивлению моему, я заметил, что из того самого места, где был форт, поднимались бесчисленные колонны огней, и я решительно не мог понять, что бы это значило. Приблизившись, я был удивлен еще более, заметив весь берег, усеянный множеством народа, который, казалось, ожидал нас; то были черкесы. Вскоре мы услышали их голоса; эхо от гор доносило до нас знакомое нам пение, именно — погребальные песни.
Двенадцать каиков, таких же, как и наш, стояли на якоре около самого берега; одни из них были уже пусты и готовились к обратному плаванию в землю черкесов, другие же высаживали своих пассажиров. Это были эмигранты, приехавшие только что перед нами. Их бледные, истощенные лица показывали, что они, как и мы, испытывали жестокие лишения во время переезда.
Бросив якорь, мы спустили шлюпку, нагрузив ее пассажирами; шлюпка подошла к берегу, мужчины вошли в воду и высадили женщин, детей, больных и мертвых. Шлюпка вернулась к каику, снова нагрузилась, и эта церемония повторилась двадцать или тридцать раз.
Наконец подошел мой черед, и я с невыразимым восторгом сошел на берег. Я был страшно утомлен и до такой степени голоден, что едва стоял на ногах. Около двух дней я ничего не ел и в продолжение 36-ти часов у меня не было ни капли воды во рту; я поспешил, насколько то было возможно, к ручейку, протекавшему у подножия горы, и напился из него вдоволь; это меня подбодрило, и я, чувствуя себя совершенно одиноким среди этой толпы, начал хлопотать, как бы мне поскорее попасть в Трепизонд. Но, наведя некоторые справки, я узнал, что мне гораздо труднее будет возвратиться из земли черкесов, чем я попал в нее.
Я узнал, что первые эмигранты, несмотря на все наши увещания не делать этого, прибыли в начале зимы, в числе 12 000, и почти все перемерли. Нуждаясь в пище, изнуренные переездом и болезнями, они принесли с собою в Трепизонд тиф, оспу и другие эпидемические болезни, так легко зарождающиеся от нищеты и лишений, и население этого города подвергалось вследствие того страшной смертности.
Турки, напуганные этим и ввиду постоянно увеличивавшегося числа переселявшихся черкесов, решили расположить эмигрантов в нескольких местах вдоль берега и расставили войска, которые не должны были пропускать их к населенным пунктам. Таким

образом, мы были блокированы этим чумным кордоном, и меня уверяли, что нельзя пройти через него без фирмана трепизондского паши.
В то время, как я высадился на малоазиатский берег, эмиграция была в полном ходу; она достигла уже 60-ти тысяч черкесов, и в одном Аче-Кале было 15 тысяч переселенцев. Несмотря на суровость сезона, они были расположены под защитою жалких листьев оливковых деревьев; не имея никакой провизии, они существовали только теми ничтожными, если не сказать более, средствами, которыми снабжало их турецкое правительство.
Мне довелось быть очевидцем раздачи провианта. Три лодки, нагруженные хлебом, приблизились к берегу, и турки, вооруженные с ног до головы, образовали род шпалер, сквозь которые должны были проходить черкесы и получать каждый по хлебу. Начальнику приказано было соблюдать при этом порядок, так, чтобы каждый мог получить свою часть; но это было невозможно, потому что хлеба было так мало, что едва половина могла быть удовлетворена, остальным приходилось дожидаться следующей раздачи, то есть до другого дня.
Я обходил все места, где были расположены переселенцы, и убедился при этом, что черкесы сами употребляли все усилия, чтобы соблюсти хоть какой-нибудь порядок среди всего этого хаоса. Они разделились по племенам, по долинам, и каждое семейство избрало себе особое дерево, возле которого оно и сложило свой скудный скарб: несколько небольших деревянных ящиков с одеждою и кожаные мешки с несколькими горстями пшена — вот в чем заключалось все их богатство. Одни рубили дрова для костров, другие строили из ветвей род шалашей, молодые женщины носили воду, приготавливали на ночь из моху и сухих листьев постели и кормили грудью детей; большие глаза их, с лихорадочным выражением, были полны слез, и сквозь длинные белые покрывала видны были их бледные, вытянутые лица, на которых утомление от переезда и лишения оставили глубокие следы. Старухи хлопотали около огня; некоторые из них, сидя на корточках, варили просо, которое они каким-то чудом сохранили у себя. Наконец, дети играли и плясали, восполняя тем всю эту плачевную, грустную обстановку.
При закате солнца крики муэдзина призывали верных к молитве; мужчины, совершив омовение, собирались каждый около священника своего племени, разобувались, расстилали свои плащи на земле и становились в ряд, лицом к Мекке. Их энергические лица, длинные бороды, их костюмы, все это необыкновенно гармонировало с грандиозною дикостью всей обстановки, и, признаюсь, я был глубоко тронут видом этих людей с воздетыми к небу исхудалыми руками. Красноватый отблеск заходящего солнца, освещая всю эту картину, придавал ей какой-то зловещий характер.
Муэдзин произносил гнусливым голосом стихи из Корана, все ему вторили хором и в то же время падали ниц; при каждом движении их сабли, кинжалы, карабины производили какой-то особый, внушительный, воинственный шум. Чувствовалось, что этот могучий народ, который если и был побежден русскими, тем не менее он отстаивал свою страну, сколько мог, и что, во всяком случае, в нем не было недостатка ни в храбрости, ни в энергии.
После молитвы хоронили мертвых; четыре человека несли их на своих плечах, и за каждым умершим следовало его семейство; женщины шли при этом несколько позади, испуская страшные крики. Это что называется они оплакивали умерших. Я слышал уже это оплакивание на Кавказе, но в Аче-Кале было столько умиравших, что эти концерты дошли до невыносимых размеров; раздирающие душу вопли эти отдавались эхом по окрестным горам. Погребальная процессия медленно достигала заранее избранного места; мертвый опускался в могилу, головою к стороне гробницы пророка; могилу засыпали землею и сверху на нее накладывали огромный камень; после этого все провожавшие возвращались. Женщины, собравшись вокруг огней, рвали на себе волосы, били себя в

лицо и грудь, испуская вопли, между тем как мужчины сидели поодаль совершенно неподвижными и немыми.

После долгих разысканий мне удалось, наконец, найти средство отправиться в Трепизонд; один контрабандист (в Турции везде можно встретить контрабандистов), с которым меня свел Якуб, взялся меня доставить в продолжение ночи в Трепизонд. Это был большой весельчак, с длинной белой бородой, видимо ему очень нравившеюся; я нашел его сидевшим в небольшом домике, укрытом среди прибрежных утесов. Приняв меня со всеми восточными церемониями и угостив чашкою кофе, он утвердительно объявил мне, что провезет меня в Трепизонд, несмотря на крейсирующие в открытом море суда и не взирая ни на какие запрещения трепизондского паши.

— Я везде пройду, — отвечал он мне на мои замечания. — Мое ремесло заключается именно в том, чтобы обходить суда трепизондского паши, и вот уже сорок лет, что я прохожу сквозь их кордон. Надобно уж большое несчастье, чтобы мы были захвачены именно сегодня; луны нет, и я тебе обещаю, что ты будешь сегодня вечером в Трепизонде, конечно, если только угодно будет это богу, — добавил он между прочим, следуя обычаю мусульман.

— Но как же это ты сделаешь? — спросил я его.

И поднявшись, он повел меня в большой сарай, расположенный тут же около домика; там он с самодовольством указал мне каик, заботливо вытащенный на песок; это была великолепная восьмивесельная гребная лодка, легкая, как чайка. Я был совершенно очарован при виде ее и окончательно успокоился.

— Ну что же? Ты думаешь, что нас могут остановить люди паши? — обратился он ко мне, смеясь. — От Синопа и до Поти нет ни одного каика, который мог бы бороться с моим. Ты можешь быть покоен, и если тебя кто-нибудь не сглазит, ты непременно будешь сегодня вечером в Трепизонде.

Я с нетерпением ожидал наступления ночи.

Когда пришло время ехать. Ахмед явился за мной; мы отправились к нему в дом, при входе в который он крикнул, и к нам немедленно же явились двенадцать человек; это были его матросы. Они спустили лодку в море, и мы отправились в путь.

Мало-помалу крики черкесов терялись более и более в отдалении, и скоро я видел только красноватый отблеск их огней. Несмотря на все удовольствие, ощущаемое мною с приближением к Трепизонду, мое сердце обливалось горечью, когда я вспоминал поражающую нищету этих несчастных, гостеприимством которых я пользовался столько времени и с которыми я теперь расставался, может быть, навсегда. Ведь они были моими друзьями, товарищами по оружию, и в то же время я знал, что все они обречены на верную смерть; мысль эта меня страшно мучила, в особенности при представлении, что я, собственно, ничем не могу им пособить.